

Олег БУДНИЦКИЙ

“ВСЕ ИСТОРИКИ НАШИ ЖУЛИКИ”

Дневник историка С. А. Пионтковского (1927–1934) / Отв. ред. и вступ. статья А. Л. Литвина. Казань: Казанский государственный университет, 2009. 516 с. ISBN: 978-5-98180-720-6.

Сергей Андреевич Пионтковский (1891–1937) – историк, один из основоположников советской историографии. Родился в Одессе, однако уже с 8-летнего возраста жил в Казани, где его отец, профессор Андрей Антонович Пионтковский (1862–1915), получил кафедру уголовного права и судопроизводства в местном университете. В 1910 г. окончил гимназию, в 1914-м – историко-филологический факультет Казанского университета и был оставлен для подготовки к профессорскому званию на кафедре русской истории под руководством профессора Н. Н. Фирсова. Будучи гимназистом, принимал участие в деятельности ученических круж-

ков радикального толка. С 1912 г. – социал-демократ, по-видимому, довольно платонический. С марта 1917 до конца 1918 г. – меньшевик-интернационалист. В 1918 г. редактировал в Казани меньшевистскую газету “Рабочая воля”, затем уехал в Сибирь, был редактором меньшевистских газет в Томске и Иркутске. Осенью 1919 г. вернулся в Казань и вступил в партию большевиков. С 1920 г. в Москве, где, собственно, и стал бойцом “исторического фронта”. Работал в Истпарте, Коммунистическом университете им. Свердлова, Комакадемии, РАНИОН, ряде московских вузов, был заместителем редактора журнала “Пролетарская революция”.

Много писал, был активным публикатором.¹ И сражался на “историческом фронте”, который рассматривал как один из участков классовой борьбы. Стал одним из первых историков большевистской революции. В историографии Пионтковского вспоминают обычно благодаря двум вещам: тезису об Октябрьской

¹ С. А. Пионтковский. Октябрьская революция в России. Ее предпосылки и ход. Популярно-исторический очерк. Москва–Петроград, 1923; Москва, 1924; Москва, 1926; Он же. Хрестоматия по истории Октябрьской революции. Москва, 1923; Москва, 1924; Москва, 1926; Он же. Гражданская война в России (1918–1921 гг.). Хрестоматия. Москва, 1925; Он же. Февральские дни 1917 года. Ленинград, 1924; Ленинград, 1925; Ленинград, 1926; Он же. Краткий очерк истории рабочего движения в России (с 1870 г. по 1917 г.). Ленинград, 1927. По подсчетам А. Л. Литвина только в журнале “Пролетарская революция” в 1921–1929 гг. было опубликовано более 20 работ Пионтковского. См.: Пролетарская революция. Систематический и алфавитный указатель 1921–1929 гг. Москва, 1931. С. 149.

революции как “двуликом Янусе” – социалистической в городе и буржуазно-демократической в деревне и его роли в разгроме “буржуазной историографии” в период “Академического дела”. Десятого октября 1930 г. Пионтковский выступил на объединенном заседании секции промышленного капитализма Института истории Комкадемии и Общества историков-марксистов с докладом “Великорусская буржуазная историография последнего десятилетия”. По-видимому, эта его работа и является в настоящее время наиболее цитируемой. Пионтковский оценивал работы уцелевших историков-немарксистов, еще не поклонившихся (или поклонившихся недостаточно убедительно) новому кумиру как “последнее сопротивление буржуазии, последние судороги мертвеца”, и считал задачей историков-марксистов “помочь им поскорее умереть, умереть без следа и остатка”.² Речь шла о коллегах, арестованных ОГПУ и имевших вполне реальные шансы умереть не только в научном смысле.

Что касается тезиса о “двуликом Янусе”, то Пионтковский отказался от него еще в 1925 г., что не мешало его противникам

вспоминать этот тезис при очередных проработках. Яркий образ сослужил его автору нехорошую службу.

Пионтковский, бесспорно, принадлежал к советской элите: жил во 2-м Доме Советов (бывшем – и будущем – “Метрополе”, ставшем общежитием партийно-советских верхов), был избран членом-корреспондентом Комкадемии и АН Белорусской ССР, служил ученым секретарем РАНИОН, заведовал кафедрой истории СССР МИФЛИ и т.д. Однако же его место было скорее во втором, если не в третьем эшелоне этой элиты, что вызывало его досаду и раздражение. Ему не выделили отдельной квартиры, когда началось постепенное расселение жильцов 2-го Дома Советов и возвращение “Метрополю” статуса гостиницы; ни в Кисловодске, ни в Сочи он не попадал в элитные санатории; его не избрали в действительные члены ни настоящей, ни Коммунистической академии.

Он был верным солдатом партии, однако же, и в конце 1920-х и особенно в начале 1930-х гг. подвергался “адским”, по его определению, проработкам. Линия партии, которой он неукоснительно следовал, изменялась с такой

² См. подробнее: С. А. Пионтковский. Великодержавные тенденции в историографии России // Историк-марксист. 1930. № 17; он же. Великорусская буржуазная историография последнего десятилетия // Историк-марксист. 1930. № 18-19; он же. Буржуазная историческая наука в России. Москва, 1931.

скоростью, что он не всегда успевал за ее изменениями. Впрочем, в этом отношении он был не одинок: к примеру, гораздо более искушенный и близкий к верхам Емельян Ярославский также попал впросак со своим 4-м томом “Истории ВКП (б)” и невольно “потянул” за собой всех своих сотрудников, включая Пионтковского.

Седьмого октября 1936 г. Пионтковский был арестован, обвинен вовсе не в каких-нибудь теоретических уклонах, а в “членстве в контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической организации” и подготовке покушения на Сталина. Седьмого марта 1937 г. он был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу, приговор был приведен в исполнение 8 марта 1937 г.

Реабилитирован Пионтковский был в 1956 году.³

В следственном деле Пионтковского сохранились машинописные копии его дневника за 1927–1934 гг. По словам публикатора дневника А. Л. Литвина, “в деле хранятся только машинописные копии дневника, а не рукописи, нет ни записных книжек, ни описи конфискованных книг,

ни личных документов. Видимо, они были уничтожены, а дневник перепечатан... Подлинность сохранившегося машинописного текста дневника Пионтковского не вызывает сомнения. Оно касается лишь того, насколько полно были перепечатаны рукописи (объем машинописной версии и внутренняя логика текста позволяют предположить, что дневник перепечатан полностью)”⁴

“Ведь то, что я пишу, это вовсе не записки Поприщина, не какие-нибудь размышления у парадного подъезда, – это записки коммуниста и революционера. Я кричу в будущее”, – так Пионтковский охарактеризовал смысл и сверхзадачу своих записей (31 марта 1931 г.; С. 418). Адресатом Пионтковского были “люди социалистического общества”, которые в будущем,

когда не нужно будет думать об ордере на калоши, когда все будут заниматься наукой, и все будут заниматься на фабрике... когда труд станет радостной функцией бунтующей плоти, чтобы тогда они прочитали мои записки и подумали о том, как мы строили

³ Подробнее о Пионтковском см.: А. Л. Литвин. Без права на мысль. Историки в эпоху Большого Террора. Очерки судеб. Казань, 1994. С. 96-121; Он же. Введение // Дневник историка С.А. Пионтковского (1927–1934) / Отв. ред. и вступ. статья А. Л. Литвина. Казань, 2009. С. 3-63.

⁴ Литвин. Введение. С. 60-61.

социализм. Я-то ведь тоже строитель” (Там же).

Дневник Пионтковского не вполне дневник в традиционном понимании этого слова. Он записывается под одной датой впечатления и рассуждения о прошедшем иногда за несколько недель, иногда – месяцев. Много размышляет о международном положении, о политических событиях внутри страны, разумеется о борьбе на “историческом фронте”, причем нередко трудно уловить, за что же именно “бьют” или “прорабатывают” того или иного историка или группу историков. Изредка в дневнике встречаются записи о личных впечатлениях во время поездок в Казань, Сочи, Кисловодск, Харьков, о встречах и разговорах с теми или иными людьми. На наш взгляд, это наиболее интересные и живые страницы дневника и весьма любопытный источник по истории быта и нравов конца 1920 – начала 1930-х гг.

Дневник Пионтковского важен еще в одном отношении: это не столь частый невольный автопортрет “истинно верующего” – интеллигента, поставившего себя на службу партии (“пролетариату”), строителя социализма. Не беру последнее словосочетание в кавычки ибо, похоже, Пионтковский в самом деле верил в то, что строит социализм.

А. Л. Литвин, занимавшийся много лет изучением биографии и творчества Пионтковского – рассказанные в его обширном и весьма квалифицированном введении к дневнику обстоятельства борьбы за “возвращение имени” репрессированного историка сами по себе чрезвычайно интересны, а временами просто фантастичны,⁵ – считает своего героя “сложным и противоречивым человеком”.⁶ На мой взгляд, автору дневника была как раз свойственна прямолинейность мышления, стремление свести сложные вещи

⁵ “В 1975 г. кафедра истории СССР Казанского государственного педагогического института, – вспоминает А. Л. Литвин, – где я тогда работал, готовила сборник статей по отечественной историографии. Моя статья о Пионтковском была набрана, прочитана корректура... и последовал вызов в местную цензуру (обллит). Там мне сообщили, что статья опубликована не будет, более того, мне инкриминировалась пропаганда взглядов ‘еврея и меньшевика с 1905 года’, о чем обллит уже сообщил в отдел пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС. Я пытался оправдаться, даже принес выписки из свидетельства о крещении Пионтковского в православной церкви, говорил, что в 1905 г. ему было 14 лет и он не мог тогда быть активным меньшевиком, да и не состоял ни в какой партии... Однако вскоре стало известно, что готовится мое персональное дело и меня хотят осудить в партийном порядке за распространение и пропаганду меньшевизма” (Литвин. Введение. С. 58).

⁶ Литвин. Введение. С. 32.

к упрощенным квазимарксистским формулам. Пионтковский – ярко выраженный “вульгарный марксист”, иногда замечавший противоречия между теорией и практикой, декларациями и их реальным воплощением в жизнь, но не умевший или не желавший делать из этого определенные выводы. Дневник – невольный автопортрет одного из “неистовых ревнителers”, не за страх, а за совесть служивших формирующейся системе (которую мы задним числом называем сталинской), а затем уничтоженный ею за ненадобность.

В дневнике Пионтковского нет почти ничего личного. Он жил в “Метрополе” с женой и матерью, однако они практически не упоминаются в дневнике. Однажды упоминается сын, очевидно, от первого брака. Сын ушел из вуза, не хотел заниматься общественной работой, в голове у него были – какая неожиданность! – девчонки, и он, раздраженно замечает Пионтковский, “в 19 лет землю роет при виде каждой юбки”. Сын явно был неспособен “обеспечить бессмертие” отцу, из чего папаша делал радикальный вывод: “Заводить другого... ясно, что если сейчас заводить, то через 10 лет у нас такой социализм будет, что это будет совершенно новое человечество, уже его так обработают, что он будет совершенно социали-

стическим человеком” (31 марта 1931 г.; С. 414).

Если читателю придет в голову мысль, что подобным образом вполне мог бы рассуждать упомянутый Пионтковским Поприщин, окажись гоголевский персонаж в социалистической Москве, то он будет недалек от истины. Дневник Пионтковского временами, в самом деле, напоминает записки Поприщина. Впрочем, чаще в голову приходит другой персонаж русской литературы – Козьма Прутков. Некоторые строки дневника как будто вышли из-под пера директора Пробириной палатки.

Например: “Люблю стихи с их звучностью” (С. 484); “Ну, ходил на выставки, ну, ходил в театры, одним словом, на практике вкушал культурную революцию” (С. 119); о писателе Д. Шильдкрете: “...вырос в идеологическом смысле таланта” (С. 188); “... ходил гулять в парк культуры и отдыха, наблюдать, как в старых классических формах эстрады пробивается новое классовое содержание” (19 декабря 1929 г.; С. 268); “14 апреля застрелился по глупости Маяковский. Жил целый год с какой-то чужой женой, а когда бабешка решила прекратить такую комбинацию, он взял и застрелился” (18 июня 1930 г.; С. 326).

Писал, что образ Маркса “застилал” образ его жены, теперь

же, когда собраны все документы, характеризующие жизнь Маркса и Энгельса, “она встает во всей своей конкретности, и на их фоне вырастает крупная женская фигура Дженни Маркс” (С. 340).

Несколько раз рассматривал хваленую Жизневу – кинодиву. Во всех журнальчиках ее портреты и на сцене, и в кино, а в общем, в общем несомненно талантливая, только уж очень необразованная женщина и примитивна до крайности, несмотря на все свои таланты. Был как-то у нее, засучивает рукава и показывает руки, почти что до плеч, а самой под тридцать. (28 октября 1928 г.; С. 203)

Пионтковский явно не отличался глубоким умом. Это отметил знававший его еще до революции М. М. Богословский. Он записал в дневнике впечатления от беседы с Пионтковским, состоявшейся в сентябре 1915 г. Пионтковский, оставленный при Казанском университете, хотел перебраться в Москву и заниматься в семинаре Богословского. Богословский помнил его по государственным экзаменам в Казанском университете (Богословский был председателем экзаменационной комиссии):

Он и тогда показался мне весьма недалеким и оставлен был ради того, что сын профессора: “по отцу и честь”. Сегодня, – записал Богословский 26 сентября 1915 года, – я еще более убедился в этом. Он разошелся с женою, весьма миловидною и умненькою особою, прекрасно одновременно с мужем державшею те же экзамены, много лучше мужа... Представления о магистерском экзамене у него смутны. Битый час, как в Казани, я ему разъяснял наши требования.⁷

Будущему академику вряд ли могло прийти в голову, что этот не слишком быстрый умом кандидат в магистранты станет в конце 1920-х гг. чем-то вроде его начальника, добившись осенью 1928 г. “после долгой и продолжительной борьбы” поста ученого секретаря РАНИОН. Свою роль в РАНИОН Пионтковский видел в “осуществлении левого фронта на фоне (так в тексте, видимо, следует читать “на фронте”. – *О.Б.*) борьбы с исторической идеологией” (28 октября 1928 г.; С. 174). Идеологией, понятно, буржуазной.

⁷ М. М. Богословский. Дневники (1913–1919). Москва, 2011. С. 83–84. Благодарю Л. А. Сидорову, сообщившую мне об этой записи в дневнике Богословского.

Наибольшее впечатление среди тех, с кем предстояло вести борьбу, на Пионтковского произвел “враг рабочего класса” медиевист Д. М. Петрушевский, по сравнению с которым, по мнению свежеиспеченного ученого секретаря, “все эти Богословские, Бахрушины, Яковлевы... простые лабазники и мясники”. Во главе же “лабазников и мясников” стоял, по мнению Пионтковского, “матерый волк, Бахрушин. Это, несомненно, открытый классовый враг” (С. 176-177). Борьбу с врагами пролетариата выходец из профессорской семьи начал с тех, кто послабее, – с аспирантов. Среди вычищенных из Института истории был ученик Бахрушина Л. В. Черепнин. Год спустя Пионтковский встретился с Черепниным во время поездки по Каспию, а в Баку даже жил с ним две ночи, как можно понять из не совсем ясной записи, в одной комнате. “Мы его исключили как контрреволюционера и антимарксиста, – записал по свежим впечатлениям Пионтковский. – А оказывается в жизни это скромный паренек, ничего не понимающий в политике, просто вырос в такой среде антисоветской, а так парень знающий, из него бы при других условиях вышел очень хороший ученый или стихийно крепкий идеолог буржуазии” (9 сентября 1930 г.; С. 354.).

Из Черепнина в самом деле получился хороший ученый, он стал впоследствии даже академиком АН СССР. Проведя, правда, в промежутке три года в ссылке на Двинских камнеразработках. Арестовали его вскоре после возвращения из поездки, в ноябре 1930 г. по “Академическому делу”. Замечу, чтобы не сложилось ложного впечатления: к аресту Черепнина Пионтковский отношения не имел, но вот к идеологическому обеспечению репрессий против коллег – самое непосредственное, о чем уже говорилось выше.

Интересна его реакция на начавшее раскручиваться “Академическое дело”, в связи с документами, хранившимися в библиотеке Академии наук: “Они скрывали документы охранки, а тем самым скрывали филеров и шпионов, армия которых благополучно проскользнула в современную жизнь” (15 декабря 1929 г.; С. 256).

Пионтковский искренне верил в заговоры, сомнений показательные процессы конца 1920 – начала 1930-х гг. у него не вызывали. Он был среди зрителей и в зале суда по “Шахтинскому делу” (С. 146-148), внимательно следил за “делом Промпартии”, побывал и на процессе по “делу Союзного бюро меньшевиков”. Однажды в дневнике встречается замечание о “слишком большой срепети-

рованности” меньшевистского процесса (С. 408), но это скорее замечание по поводу формы, а не сути.

Побывав в клубе строителей в Ленинграде на премьере пьесы Б. Лавренева “Враги”, Пионтковский записывает: “‘Враги’ – это не вымысел, это жизнь. Быть может, участники ее, враги, сидят сейчас здесь, среди театральной публики или бегают вереницами по улицам” (15 февраля 1929 г.; С. 250-251). Он с недоумением встретил сравнительно мягкий приговор по “делу Промпартии”: “Мне и сейчас непонятно совершенно, почему помиловал ЦК Промпартию?” (11 декабря 1930 г.; С. 393). Фиксируя в дневнике успехи первой пятилетки, Пионтковский замечает: “Дает, правда, знать себя сейчас вредительство, вернее, его результаты – расхлябанность” (12 января 1931 г.; С. 403).

Известный эмигрантский историк Н. И. Ульянов, в 1927–1930 г. аспирант РАНИОН, затем Комакадемии, назвал в своих воспоминаниях Пионтковского “гнусной личностью”.⁸ А. Л. Литвин, цитируя это высказывание, замечает,

что “важнее не судить, а понять”, и объясняет действие (или бездействие) Пионтковского обстоятельствами времени, страхом “перед жестокой государственной машиной, подавляющей любое инакомыслие”.⁹

Какого-либо инакомыслия у Пионтковского не прослеживается. И вряд ли можно объяснить страхом его усилия (а старался он, по его словам, “изо всех сил”) не пропустить в секцию ученых А. К. Джигелегова, Б. И. Сыромятникова и некоторых других при перерегистрации подопечных ЦЕКУБУ, т. е. лишить их каких-то пособий, пенсий, пайков и т.п. Напомню, что Центральная комиссия по улучшению быта ученых занималась как раз этими вопросами. Первого апреля 1930 г., участвуя в заседании Экспертной комиссии, Пионтковский “их резал безжалостно”. И комментировал на следующий день: “Старики пережили самих себя. Был строй, которому они были нужны, который их кормил, и они его обслуживали, а теперь на старость лет они просят пенсии за труды у того класса, на пользу которого они не сделали

⁸ Характерно, что почти также, а именно “гнусом” называли “буржуазные историки”, собиравшиеся на квартире С. Ф. Платонова, вождя советской исторической науки М. Н. Покровского. Впоследствии все посетители Платонова, высказывавшие критические суждения о политике партии, в том числе в отношении истории, были арестованы по так называемому “Академическому делу” (См.: Н. П. Анциферов. Из дум о былом: Воспоминания / Публ. А. И. Добкина. Москва, 1992. С. 368).

⁹ Литвин. Введение. С. 30.

ровно ничего, и конечно, нужно гнать их и отрезать от секции” (2 апреля 1930 г.; С. 318).

Впрочем, враги были везде, и совсем не обязательно только среди “буржуазных историков”. Враги среди “своих” были, пожалуй, еще опаснее:

И хотя я твердо знаю, что все окружающие меня – мошенники и жулики, но иногда все же я прихожу в изумление видеть те фортели, которые они выкидывают, – записывает Пионтковский после выхода в свет критической рецензии на его книгу. – Долгожданная рецензия на мои лекции наконец появилась. Трудно представить себе что-нибудь более безграмотное. Перевертали факты, перевертали мысли, приписали то, что я и не думал и не писал, и облаяли самым отчаянным образом. Глупейшее положение – вместо того, чтобы бороться с буржуазией, приходится бороться с группой коммунистов, захвативших в свои руки исторический журнал, и только потому, что и в их руках бумага, считающих себя историками... Всю историю организовал секретарь Покровского – Минц. Жулик первой марки, бывший фельдшер

и бывший лавочник, теперь кавалер Красного Знамени и ученик Покровского. Пока еще не написал ни строчки, а претензий имеет целые тома. Подзудил написать на меня рецензию, подлец. (1928 г.; С. 136-137)

Не лучшего мнения был Пионтковский и о самом Покровском, которого знал с 1920 г. Пионтковский записал после его смерти: “...это был самодур и рабовладелец. Он не уважал людей и страшно ценил то политическое положение, которое имел. За него держался зубами, в кровь грызся за увеличение и укрепление своего положения” (4 мая 1932 г.; С. 464). Вообще, редко кто из коллег удостоивается в дневнике доброго слова:

Адоратский, ставший академиком, дурак из дураков... Такой же балда и другой академик – Савельев, с той только разницей, что Савельев действительно партиец, при всей своей глупости, при всем своем тяжелодумье, голова у него как мельничные жернова, – он все же умеет ставить вопросы политически, политически мыслить. (4 мая 1932 г.; С. 466)

В целом оценка Пионтковским историков-современников была не слишком высока. В то же время он

был временами довольно самокритичен:

Вообще все историки наши жулики. Мне иногда кажется, что я сам становлюсь хуже Собакевича. Брюзжу и ругаю всякого, кто под руку попадается. Говорят, что от старости собака лает, да не кусается, а тут всякая дрянь, что и молодые и старые кусать будут. (1928 г.; С. 137)

В общем, опасаться надо было всех, в том числе самого себя:

Теперь в области идеологии сплошной фронт – был философский фронт, был юридический, теперь открылся аграрный и исторический, и все друг дружку прорабатывают, анализируют все работы. И выйдет вдруг, неожиданно в результате 10 лет, вся твоя жизнь и писания не что иное, как чернильная клякса. А не то совершенно неожиданно для самого себя из твоих книг закричит классовый враг и, черт его знает, как ты и сам сделаешься рупором противоположного класса. (24 февраля 1930 г.; С. 277)

К этой мысли – о том, что надо приглядывать за самим собой, надо не просто следовать линии партии, а стремиться предугадать

очередной изгиб этой линии, Пионтковский возвращается еще раз:

Эти проработки коммунистов, проработки внутри партии – они говорят о том, что те, кого прорабатывают, они как-то не успевают идти в ногу с растущим и развертывающимся социализмом, не успевают за требованиями и стремлениями пролетариата, не умеют вовремя предугадывать их, а тем самым, следовательно, задерживаются на позициях враждебных пролетариату классов. Обо мне пока этого еще никто открыто не сказал, но для того, чтобы со мной такой вещи не случилось, мне самому нужно глядеть в оба на свои писания и стараться быть настолько на высоте современного момента, нужно уметь поставить такие проблемы, которые должны встать в будущем, которые толкают и приближают будущее. (2 мая 1931 г.; С. 430)

В верности линии, куда бы она ни выворачивала, Пионтковский не сомневался. Проблема была в том, что он не всегда попевал за ее поворотами. Иногда истинно верующего посещали сомнения. То он сетовал на неравенство в партийных рядах: во время от-

дыха в Кисловодске летом 1928 г. Пионтковский записывает:

Партийные сановники не мешаются даже во время отдыха с рядовой партийной шпаной. Ни в одной, пожалуй, стране аристократия не поставлена так крепко и в высоко привилегированные условия, как у нас в стране. (Июнь 1928 г.; С. 100).

Два года спустя во время очередного отпуска на юге:

В Сочи живет вся советская знать. На даче ВЦИКа, как в палатах: кругом жрать нечего, а у них на каждого отдельный стол. Не найдешь стакана вина. Огорожены они от всего мира забором и за забор никого не пускают и сами никуда не ходят. (12 сентября 1930 г.; С. 358)

Иногда Пионтковский подмечает противоречия между словами, произносившимися с партийных трибун и жизненными реалиями:

Несомненно, что успехи грандиозны. Но как-то непонятно сразу, почему в момент толкования о грандиозных условиях (так!), в те дни, когда на конференции¹⁰ Микоян и Любимов

перечисляли достижения, наша промышленность все цены повысила на 25%. Говорят, что до сих пор государство продавало все товары широкого потребления ниже себестоимости да и для интенсивного строительства легкой промышленности нужны новые хозяйственные ресурсы. Вот нажали на спички и хлеб. (3 февраля 1932 г.; С. 449-450)

Или же выражает сомнения (правда, мимолетные) в скором построении социализма:

...хотя Молотов в речи на съезде Советов и говорил, что фундамент социализма мы уже построили, но мне кажется, что до полного социализма все-таки еще далеко. Слишком уж наш быт консервативен, мало в нем социалистического. Ну, что внесено в быт нового. Вместо попов на похоронах играет военный оркестр, вместо свадьбы в церкви ходят в ЗАГС, вместо абортот – презервативы. Ну и все. Живут по-прежнему. Накопленный предыдущим поколением капитал – дома, постройки, города – давит своей тяжестью, держит в объятиях

¹⁰ Речь о 17-й партконференции, 30.01. – 4.02.1932. – *О.Б.*

буржуазного индивидуалистического хозяйства. (31 марта 1931 г.; С. 412).

Возможно, пессимистические нотки были вызваны в данном случае личными проблемами: Пионтковского собирались выселить из “Метрополя”, и он вновь вспомнил о неравенстве в советских элитах:

Неравенство – есть аристократы-члены правительства и старые большевики, есть партийная гвардия, а потом вообще идут различные элиты. Нас переселяют из “Метрополя”. Для получения квартиры тоже нужен стаж, даже для размеров площади он помогает. Ужасно противно. Такие грандиозные взлеты, а тут такая ерунда. В Харькове на улицах масса нищих. Поют какие-то думки, стихи, черт их разберет, что играют на гармошках. Словом, самый, что ни на есть режим. (31 марта 1931 г.; С. 413)

Пионтковский был завязтым театралом. Его записи о театральных постановках, возможно, позволяют понять его образ мышления лучше, чем исторические исследования. Ведь эти записи делались для души, а не по служебной надобности. По мнению историка, МХАТ, “отвечая на 10-летие Октябрьской революции постановкой ‘Броне-

поезда’ (“Бронепоезд 14-69” Вс. Иванова. – *О.Б.*), подчеркнул, что в революции он увидел и понял лишь ее буржуазно-демократическую сущность, не отобразив пролетарской, социалистической” (1928 г.; С. 121). Театр Вахтангова, это, по Пионтковскому, “театр запутавшегося, запуганного директивами революции интеллигента, вошедшего, в конце концов, в общую струю пролетарской диктатуры” (1928 г.; С. 121).

Посмотрев в неназванном театре “Строителя Сольнеса” Ибсена (несомненно, Пионтковский смотрел пьесу в бывшем театре Корша в постановке К. А. Марджанишвили), историк записывает:

Играют замечательно, но Ибсен умер, и никакой игрой его не воскресить. Только для того, чтобы посмотреть, как умер этот идеолог мелкой буржуазии, стоит сходить на “Строитель Сольнес”... Политически спектакль ненужный и вредный по своей идеологии. (22 апреля 1931 г.; С. 420-421)

О постановке “Гамлета” театром Вахтангова, в центре которой стоит борьба за престол, интрига, Пионтковский пишет:

Для него (театра. – *О.Б.*) все вопросы заключаются не в социалистической революции, а в буржуаз-

но-демократической. Тем самым ставя в конце 15 года Октябрьской революции Гамлета “реалистически”, театр не делает шага по пути революции, а в минуту ожесточенной борьбы снимает проблему классовой борьбы, т.е. уходит от революции. (13 июня 1932 г.; С. 470, 471-472)

Пионтковский толковал историк у театра П. А. Маркову, написавшему статью к 100-летию Александринского театра, что Александринка “ставила в 60-х годах морализирующие проблемы пола и семьи, она тем самым снимала проблему классовой борьбы” (13 июня 1932 г.; С. 472).

Не прошла мимо внимания Пионтковского выставка группы художников “13”, “во главе с Бурлюком, белогвардейским эмигрантом”: “Это чисто контрреволюционное выступление группы художников, это – ‘Промпартия’ в искусстве”, – записывает он после посещения выставки (22 апреля 1931 г.; С. 423-424).

Однако в основном дневник посвящен все же борьбе на “историческом фронте”. Надо отдать должное Пионтковскому: иногда его замечания на удивление метки и он как будто трезвеет, поднимается над угаром борьбы:

У историков, как всегда – склочка. Пытаемся прора-

ботать Горина и уже пошли, конечно, проклинать друг друга, обвиняя друг друга в меньшевизме, троцкизме и всяких тому подобных извращениях ленинизма. (12 января 1931 г.; С. 404)

Нас ведь историков немного, и между нами идет такая борьба, на каждом шагу топим друг друга, обвиняемся в приходе и наговариваем друг на друга, когда входим в приемную. Атмосфера – дышать нечем. Я считаю, что исторический фронт – особенный фронт, затхлость на нем особенная, конденсированная, углубленная. (4 июля 1931 г.; С. 434)

Одна из записей носит по-настоящему драматический – и во многом показательный – характер:

Думал открыть острова и материками ворочать, а всего добился комнаты в 34 кв. метра, груды книг и старого, какого-то захудалого вузика. Так профессор. Из жизни ничего не получилось... Меня адски проработали. Все мои книги изруганы и заплеваны... за полтора года все, что я ни напишу, регулярно возвращается обратно. И что самое скверное и самое страшное – то, что в проработанных книжках

и в тех рукописях, что возвращают обратно, всегда находят троцкизм. Я был верен генеральной линии, как верен солдат своему знамени, но почему же из меня на мои страницы проскакивает троцкизм не как цельная концепция, а как мелкобуржуазные взгляды и настроения – мертвый хватает живого. Вырваться из своего собственного состояния оказывается невозможно. (24 октября 1932 г.; С. 484-485)

Поразительно здесь не только отчаяние гонителя, самого ставшего на некоторое время гонимым, но и вера в то, что партия знает о его сущности больше, чем он сам. Пионтковский сам признает, что где-то внутри него гнездятся “мелкобуржуазные взгляды и представления”! Не отсюда ли – из чувства собственной принадлежности к старому миру, невозможности преодолеть в себе “ветхого человека” – выросли частично покаяния перед партией, в том числе на показательных процессах? Впрочем, главная причина поразительных признаний была гораздо проще: попытки во время следствия.

Однажды, будучи на отдыхе в Кисловодске, Пионтковский слу-

чайно подслушал разговор двух чекистов. Один из них рассказывал, как расстреливал в подвале белых офицеров, “как шипела, струилась кровь, и ходил он хлопал по крови”. “И рассказывал он это с таким наслаждением, что мне стало страшно, – записал Пионтковский, – а вдруг он опять начнет кого-нибудь расстреливать”. Чекист, среди прочего, жаловался на Центрисполком и губком, которые его не понимали и снимали с работы за жестокость (июнь 1928 г.; С. 100-101).

В середине 1930-х чекистов снимали с работы разве что за недостаточную жестокость. Один из них – капитан госбезопасности Моисей Гатов, выпускник хедера и 3-классного приходского училища в Ростове-на-Дону, бывший ученик продавца в галантерейном магазине, выросший затем до упаковщика, а в 1921 г. переквалифицировавшийся в чекисты,¹¹ состряпал дело о “контрреволюционной троцкистско-зиновьевской организации”, в состав которой входили, согласно следственному делу, одни историки. Понятно, что капитан Гатов был исполнителем. Кто на самом деле инициировал “дело историков”, неясно. Возможно, впрочем, машина террора уже набрала ход и была не всегда управляемой,

¹¹ Н. В. Петров, К. В. Скоркин. Кто руководил НКВД. 1934–1941: Справочник. Москва, 1999. С. 142.

и показания одного человека, сломленного следствием, влекли за собой аресты тех, кого он упомянул в показаниях, ну а там вопрос “создания” контрреволюционной организации был делом следственной техники. Точнее, кулаков и сапог следователя.¹²

Был ли Пионтковский только жертвой? По этому делу – бесспорно. С учетом его предшествующей деятельности ответ представляется не столь однозначным. Вот что писал, к примеру, Пионтковский 25 ноября 1930 г.:

Леваков выселяют и вычищают из партии старательнейшим образом. Часть уже выставлена из Москвы. Пока, в общем, попалось человек 10–12, но, конечно, периферия у них гораздо большая. Связи с группировками леваков вскрываются и дадут еще новые сюрпризы. Интересно, что пока попался Татаров. Вот судьба, во всех оппозициях человек был. Жену его уже исключили из партии,

как он сам выкарабкается. Татаров – мелкая сошка из историков, конечно, основную фигуру у них играл Фридлянд. Вот этого разоблачить – это действительно стоящее дело. (25 ноября 1930 г.; С. 386–387)

Теперь Г. С. Фридлянда, декана недавно образованного истфака МГУ, разоблачили совсем другие люди. Проходил он по одному делу с Пионтковским и был расстрелян с ним в одну ночь. Фридлянд, впрочем, также вовсе не был овечкой и принимал самое активное участие в борьбе на “историческом фронте”. Они создавали почву для расправы с инакомыслящими – на самом деле или потенциально.¹³ Теперь очередь дошла до них, как дойдет вскоре и до капитана Гатова, сделавшего свое дело и подлежавшего теперь отправке в тот же – или в соседний – подвал, где недавно расстреливали его подследственных.

Суд над Пионтковским и другими 7 марта 1937 г. продолжался один час пять минут. Впрочем, в

¹² Подробнее о деле Пионтковского и его реабилитации см.: Литвин. Введение. С. 47–57.

¹³ По воспоминаниям студентки первого набора факультета истории МГУ Е. М. Штаерман, к студентам, собранным в актовом зале, вышел декан и сказал: “Среди вас, конечно, есть разные люди. Ну, ничего. Мы еще разберемся, кто из вас кто” (М. Г. Рабинович. Записки советского интеллектуала / Публ. О. В. Будницкого. Москва, 2005. С. 150). Впрочем, М. Г. Рабинович, который воспроизвел в своих воспоминаниях рассказ Е. М. Штаерман, допускал, что Фридлянд мог иметь в виду что-то другое – “способности и работоспособность каждого” (Там же). Однако же у самой Штаерман, присутствовавшей в зале, сомнений в смысле слов декана не было.

данном случае задача судей была проста: проштамповать приговор, predeterminedный Сталиным, Молотовым и Кагановичем, подписавшими 27 февраля 1937 г. расстрельный список “Москва-Центр”.¹⁴ Молотов был знаком с Пионтковским еще по ученическим кружкам в Казани. Одним из трех членов Военной коллегии Верховного суда, вынесшей приговор, был И. Т. Никитченко – в будущем член Нюрнбергского трибунала от СССР. В ту же ночь Пионтковский, Н. Н. Ванаг, директор МИФЛИ А. Г. Пригожин и Фридлянд были расстреляны.

Пионтковский записал в дневнике 31 марта 1931 г.:

Черт возьми, обидно одно. Ведь Москву социалистическую построить можно лет через 10 из какого-нибудь необыкновенного кирпича, легкого, непроницаемого, социалистического, а меня через 10 лет в крематории сожгут самым не социалистическим образом. (С. 413-414)

Сожгли его “самым социалистическим” образом: вместе с другими расстрелянными в крематории Донского монастыря. Прах расстрелянных был захоронен на территории нового Донского кладбища.

Из всех многочисленных трудов Пионтковского читаемым останется, по-видимому, лишь дневник, ставший нечастым подтверждением булгаковского высказывания о том, что “рукописи не горят”. Его автору, благодаря многолетним усилиям А. Л. Литвина, удалось “докричаться” до потомков. Правда, дневник стал доступен читателям благодаря краху социализма, а не его победе, о которой так мечтал и которой так и не дождался автор.

* * *

В заключение несколько слов о делах сугубо профессиональных. Подготовка текста к публикации оставляет желать много лучшего. Точнее, никаких следов подготовки текста не заметно. Не ясно, кем были сделаны опечатки: машинисткой ли НКВД при перепечатке дневника или при компьютерном наборе текста, но их количество и качество зашкаливают; некоторые из них носят даже несколько юмористический характер. Например: “у власти основные хиты (очевидно “киты”. – *О.Б.*) буржуазной профессуры” (С. 116); Агитпром вместо Агитпропа (С. 140); “возрождение” вместо “вырождения” (С. 140). “В Свердловске” вместо “в Свердловке” (Коммунистическом

¹⁴ <http://stalin.memo.ru/names/index.htm>.

университете им. Свердлова) (с. 319); и т.д., и т.п.

Запись о заседании бюро в Институте советского строительства 3 марта 1930 г., на котором Каганович выступал среди прочего по вопросу о созыве “правой конференции” (С. 291), могла бы стать истинной сенсацией: один из соратников Сталина после разгрома “правого уклона” призывает к созыву “правой конференции”! На самом деле речь, несомненно, шла об организации правой конференции, что бесспорно следует из содержания речи.

Не менее небрежно проделана работа над примечаниями. Если упоминаемые персоналии относятся к партийно-советским деятелям, кое-какие сведения приводятся, и то далеко не обо всех, остальным же повезло меньше. К примеру, упоминаются выступления на XVII партийной конференции Микояна и Любимова. Справка о Микояне приводится, о Любимове – нет. Хотя установить, кто это такой, можно, даже не заглядывая в “святцы”, т.е. в стенограмму конференции. Ведь И. Е. Любимов (1882–1937) был наркомом легкой промышленности. Не идентифицируется театровед Марков, которого наставлял Пионтковский, хотя, казалось,

чего уж проще: ведь речь идет о П. А. Маркове (1897–1980), завлите Художественного театра, театральном критике, режиссере, к тому же персонаже “Театрального романа” М. А. Булгакова (Миша Панин). Не столь сложно установить, по поводу какой статьи консультировался Марков с Пионтковским.¹⁵

Встречаются очевидные ошибки: так, в тексте упоминается некий Ионов (С. 305), с которым Пионтковский встречался в марте 1930 г. Автор примечаний считает, что это И. И. Ионов (Бернштейн), о котором сообщается почему-то лишь то, что он с 1933 г. являлся председателем правления издательства “Старый большевик”. Между тем Ионов, упоминаемый в дневнике, в описываемое время “сидел в Кавказском областном комитете” и, по его словам, “за работой вот уже полтора года не читал ни одной серьезной книги”. Однако же И. И. Ионов в это время работал вовсе не на Кавказе, а руководил издательствами “Земля и фабрика” (1928–1930) и “Academia” (1928–1932). Очевидно, что с Пионтковским встречался какой-то другой Ионов. На с. 322 упоминаются черемисы и вотяки, причем если относительно вотяков поясняется, что это

¹⁵ Александринский театр в эпоху “либеральных” реформ (1860–1880) // Сто лет. Александринский театр – театр Госдрамы. 1832 – 1932 гг. Ленинград, 1932.

устаревшее название удмуртов, о том, что черемисы ныне называются марийцами, почему-то не сообщается.

Это лишь немногие примеры. Остались не прокомментированными десятки персоналий, событий, реалий 1920–1930-х гг. Издание, к сожалению, не снабжено указателем имен.

На наш взгляд, дневник Пионтовского заслуживает переиздания по следующим обстоятельствам. Во-первых, тираж 300 экземпляров делает его практически недоступным для большинства исследователей. Во-вторых, книга требует текстологической подготовки и научного комментария, скажем, в стиле Романа Тименчика или Владимира Хазана. Это могло бы сделать ее энциклопедией “трудов и дней” советских историков 1920–1930-х гг.



Dorena CAROLI

О. Ю. Никонова. Воспитание патриотов. Осоавиахим и военная подготовка населения в уральской провинции (1927–1941 гг.). Москва: Новый хронограф, 2010. 471 с. ISBN: 978-5-94881-138-3.

The book is a study of Soviet patriotism and military education and training during the interwar period as viewed through the prism of a local branch of the *Osoaviakhim* (Union of Societies of Assistance to Defense and Aviation and Chemical Construction of the USSR). One of the largest semivoluntary public associations of the totalitarian age, *Osoaviakhim* was instrumental in raising patriotism in the society living under a constant fear of war. This explains why *Osoaviakhim* survived throughout the 1930s while other politically loyal social and cultural associations gradually disappeared.¹

Olga Nikonova is professor at the Center for Historical Research at the South Urals State University, and this book is a continuation of her prior research (her Candidate of Sciences dissertation was dedicated to the history of the civil war in the Urals). She writes the history of *Osoaviakhim* (both in Moscow and in the Urals) from the regional, gender, and national perspectives. By

¹ I. I. Il'ina. *Obshchestvennye organizatsii v Rossii v 1920-e gody*. Moscow, 2000.